

Кошкадохлая / рассказ

Category: Heкаýalar, Kitарсу

написано kitарсу | 24 января, 2025

Кошкадохлая / рассказ КОШКАДОХЛАЯ

Я рву орехи в Кузьминском парке. Внезапно из-за орешника выходит мужик: его мокрый рот полуоткрыт, ширинка отворена... Маньяк! Я бегу от него, на мне длинный вязаный шарф, хвосты его цепляются за орешник, и он разматывается на ходу. Наконец просвет – там тропа, люди! Вдруг между кленов возникает отец, – как он здесь появился, он ведь лежит в онкологии? «Вот помру я, – сердито говорит он, – а книжку ты так и не издала! Лентяйка! Сюжеты же повсюду – ничего не видишь!» Это он не видит бегущего мне вослед маньяка – и садится на скамейку, уткнувшись в рукопись. Вижу краем глаза белый общественный туалет с надписью «Ж» и двух теток рядом. Спасение! Я забегаю в туалет, поскальзываюсь на куче дерьма, падаю носом в осклизлые зловонные доски и вижу... Опять вижу эти оскаленные желтые челюсти! Клочковатую шерсть и горсть червей под брюхом, почти лысый хвост с несколькими волосинами. От ужаса я немею и уже не могу пошевелить даже пальцем. Оттолкнув баб перед туалетом, маньяк входит – но мне уже все равно.

Я смотрю на кошку, и конечности мои леденеют, будто я уже умерла.

15.50.

Я стараюсь раскрыть глаза уже минут сорок – но слезы, которыми я заливалась во сне, загустели и образовали между век что-то вроде клея. Ноги еще мерзлые от ужаса перед дохлой кошкой – которая поразила меня 31 год назад, когда мне было 3 года: она лежала в овраге, за деревней, рядом ржавый моток проволоки.

Обычно кошка снится мне, когда кончается ремиссия и болезнь накрывает меня с новой силой. Тело как будто пропустили сквозь мясорубку, Господи, помоги мне!.. Почему сегодня я не

запутывалась в ржавой проволоке, как обычно?... Может быть, во сне проволока отсутствовала благодаря Стивену, который дрыхнет на диване за стенкой уже полтора месяца? То есть он не только дрыхнет — он еще и переводит статьи с русского на американский, для Минкульта — время от времени, — как внештатник.

— Вав-ав-вава, — воет Стив, просыпаясь.

Я беру телефон и отправляю ему эсэмэску с одним -единственным словом: кофе!

Слышу, как плачет мобильник, Стивен ворочается с боку на бок и наконец берет бессильной рукой телефон, тащит его с одного края прикроватного стола на другой, пододвигая к себе. Крышка телефона производит такой звук, будто кошка ведет когтями по столешнице. Ну и слышимость в этих блочных домах!.. Еще минут десять он вертится, накручивая на себя одеяло, потом наконец встает и идет на кухню ставить чайник.

Медленно переступая ногами, как зомби из его любимых компьютерных игр, Стив направляется в прихожую. Клацает железной дверью: идет к лифту курить. Спустя две минуты дверь опять лязгает, — тащится на кухню и заваривает кофе.

Открывается дверь, появляется мордаса любимого, с улыбкой до ушей и выпученными от радости глазами.

— Хелло-оу! — напевает он и ставит чашку на тумбочку, вытягивает губы трубочкой навстречу мне, цокает языком, как будто хочет меня съесть, и произносит свое обычное: — Скуши-скуши-скуши...

Дверь закрывается.

16. 20.

Я прихлебываю кофе, все еще лежа, и слушаю приглушенные звуки стрельбы и хохот Стива.

«Черт его дери, – думаю я, – с самого утра, даже не позавтракав, запустил компьютерную игру! Ах да, чего ему есть – я же ничего не приготовила. Надо дать ему кукурузных хлопьев с молоком. С самого утра – бегство из реальности. Впрочем, у них в семье это наследственное. Дед – убежденный фашист, спился вскоре после войны, не пережив разгрома Рейха; рыдал по ночам, вспоминая погибших зазя товарищей. Его жена обнаружила в подвале дома фашистский флаг, сшила из него платье и убегала в этой обновке на танцы к французам; первые ее куклы были сделаны из того же флага – так выглядело ее бегство. Она предпочла кукол людям... Кукольница подарила дочке одну из трех книг, стоявших в доме, – «Дневник Анны Франк». Еще были лютеранские гимны и «Майн кампф». Когда девятнадцатилетняя дочь сбежала в Америку, она взяла с собой только «Дневник Анны Франк». Лютеранские гимны она отринула так же, как и «Майн кампф». Узнав об этом, отец проклял ее. В Америке она через три месяца выскочила замуж за местного парня, тоже мальчишку, уже беременная от него Стивом. Вскоре юный папаня отправился добровольцем во Вьетнам и, вернувшись, так же орал по ночам, как и Стивенов дед. Чуть позже он сбежал на флот, – его месяцами не было, – а потом и вообще в Индонезию. Когда Стив вырос, он тоже предался бегству – из аспирантуры в Америке – в Россию. «Ф-ф-ф, – говорит он про родной Сан-Диего, морщит нос и высовывает язык от отвращения, – там всюду помойка. Мусор везде! На автобусных остановках всюду сумасшедшие, они вышли из психдом, потому что у штата не было денег их содержать. Автобуса можно ждать час, чтобы доехат из пригорода до центра. Ф-фф».

16. 29.

Мы сидим за столом на кухне и едим хлопья. Стив бормочет что-то – это, кажется, Аристотель. Он решил возобновить свои занятия древнегреческим, которые начал 12 лет назад, в аспирантуре...

– Что это?

– Та мета та физика, – то, что после физики. Метафизика, – отвечает он.

– Ты же решил дописывать диссертацию, – говорю я, – «Хайдеггер как экзистенциалист». Тебе надо читать Хайдеггера, а немецкий ты, как сам говоришь, подзабыл, читаешь со словарем – на хрена тебе древнегреческий?

– Ы-ы-ы! – стонет Стивен, что означает: не трожь меня. – У Хайдеггера в книге есть цитата на греческом. И также – я обожаю языки! Ты не знаешь ни одного языка!

– Скоро ночь, а мы с тобой только завтракаем. Пойдем хоть погуляем, – предлагаю я и гляжу в окно: предзимние сумерки середины ноября накрыли собой потоки машин – они светятся одними глазами-фарами, как обложившая нас стая волков.

– О кэ. На прогулке будешь учить английский. Мы опять забыли перестроить часы... страна переехала на зимнее время, – отзывается через некоторое время Стивен, медленно вращая челюстями и так же медленно переводя неясный взор круглых глаз с еды вверх, на настенные часы.

«Что-то в нем есть от нашей Зорьки». Я вспомнила любимую корову тети Маши, деревенской соседки, безвинно погибшую в прошлом году. Так же как и Стивен, корова мечтательно жевала сладкий клевер на лугу, пока не обожралась и ее не раздуло. Тогда ей воткнули шило в живот, она последний раз блаженно вздохнула – и преставилась.

– Да, часы надо было перевести еще пять дней назад, – произношу я вслух.

– На часах полфтора пятого, а на самом деле полфтора шестого... – вторит мне Стивен с набитым ртом.

– Не полтора пятого – а полпятого, – поправляю его я и обреченно говорю: – На час больше будем днем валяться в постели...

Стив уже 9 лет в России, но все еще плохо говорит по-русски: здесь он тоже осуществляет свое бегство – уже внутреннее – в компьютерные игры и древние языки, общением интересовался мало, разве что с двумя эрудированными и очень скучными американцами-русистами, одной кудрявой, бисексуальной и шепелявой француженкой из НПО и тихим китайцем-флейтистом, – его соседями в большой квартире на Новокузнецкой. Конечно, они говорили по-английски. Я не понимаю, почему он не совершенствует свой русский – я вообще мало поняла за эти полтора месяца, что мы живем вместе. Разгадка и будоражит, и тревожит меня одновременно. Если ничего не получится – всегда выйдет что-то на бумаге, хотя бы рассказец...

Пошли курить.

Дверь – клац-клац. Докурив, мы тырим бычки поглубже, в складки батареи. Из квартиры выходит наша соседка с собакой, глядит с ненавистью на мои пижамные штаны, торчащие из-под халата. Она работает в метро, в пять утра уже на ногах, и сейчас уже пришла с работы. По ночам каждые десять минут Стив тащится курить в коридор – и железная дверь клацает, сотрясая надорванную нервную систему работницы дребезжащего и гудящего метро. Соседка уже две недели не отвечает на наши приветствия, а ее добродушная ожиревшая овчарка стала рычать при виде нас.

– У нее это классовое, – говорю я, когда тетка с собакой скрываются в лифте, – в конце концов, они придут с топорами и молотками, – говорю я.

– Да, – отвечает Стив, – надо взять из дома пепельн...

– Пепельницу.

– ...пепельницу и складывают в нее крошку.

– Не крошку – а окурки. Крошка – это летний суп.

– Да, прости. Это такой мокрый, кислый, холодный, там еще огурец плавает? Ф-ф-ф.

16. 35.

Мы в парке. Начинается урок английского. Я не помню ничего из

английского. И не понимаю ничего из того, что говорит мне Стив на уроках. Например, вместо «лейте» он произносит «лэда», потому что нас учили английскому, а не американскому.

– Do you see a tree there? – спрашивает он меня. – What kind of tree?

– I don't know, – отвечаю я.

Это единственное, что я помню из английского.

К счастью, фраза универсальная.

– This is a ...береза... Ой, блин! Я забыл, как это в английски.

Стив печально глядит в сумеречное осеннее небо, и сам представляется мне березой, которая парит в холодном осеннем воздухе, отряхивая со своих корней последнюю даже не землю, а пыль. Такой же длинный, беловолосый, как береза, с черными подпалинами под глазами и на скулах от ночных схваток с компьютерными демонами.

– А-а, вспомнил. Beech.

Его мать также забыла немецкий в Америке, как он сейчас забывает английский. Она постаралась и забыла – все, кроме «Дневника Анны Франк», – а он забыл без всяких усилий. Просто забыл. Кстати, немецкий в университете ему пришлось учить самому: мать стыдилась своего языка.

– Стив, у тебя какая жизненная задача? Ты вообще чего хочешь?

– внезапно, как учат психологи, выстреливаю я.

– Счастья, – отвечает он и улыбается до ушей, – хочу счастья с тобой.

Моя улыбка, наоборот, сползает с лица.

– Ка-ак это счастья? – взываю я. – И все? А диссерта-ация? Экзистенциализм? Твой научный руководитель простил тебе, что ты бросил дисер, что ты получил только masters, и эти несчастные a.b.d., – он считал, что ты сбежал в Россию, потому

что здесь тебе будет легче понять экзистенциализм.

– Он умерр.

– Вот видишь! Он умер! Умирал – надеясь на то, что ты раскроешь в этой свихнутой стране тайны экзистенциализма...

Стивен сдвигает брови, отчего его мультяшное лицо с круглыми глазами и круглыми бровями, с чуть вздернутым носом приобретает комические черты.

– А второй твой профессор, который предложил тебе писать про Шестова и Хайдеггера, он...

– Тоже умерр. Я не хочу говорит об этом сейчас. Ой, какое здесь все железное! – с восторгом двухлетнего карапуза произносит он, и лицо его снова расслабляется. – Я так счастлив с тобой! Мне больше ничего не надо! – Скуши-скуши-скуши ... – засусюкал Стив и ухватил меня за нос, потом за бока и сжимал, как плюшевую игрушку. Получалось у него хорошо – куртка на мне была болоньевая. – Я так люблю тебя, я счастлив с тобой...

«...Тогда, летом, в Коломенском, – вспомнила Надя, плетясь позади Стива, – когда он валялся на лугу неподалеку от меня и сам с собой разговаривал на латыни – вокруг было слишком радостно, а мне – слишком страшно, чтоб я не купилась на это латинское бормотанье, восторженные разговоры о России! «Ой, какое здесь все железное! – радостно, как сейчас, произнес он тогда, перевернувшись на живот и глядя в сторону садов, и я спросила: «Почему железное?» – Извините, я американец и всегда путаю два русских слова – железны и зелены». Я пододвинулась и заглянула в его тетрадку, вложенную в учебник по латыни – там круглыми, как у первоклашки, печатными буквами были написаны латинские слова и рядом перевод. Некоторые слова были переведены с латыни не на английский, а на русский. Он забыл английские аналоги!.. Это почему-то меня особенно умилило. У отца только что обнаружили рак, и ночами я плакала, а днями умилялась чему ни попадя – так что это было нетрудно. «Иностранцы как дети, так и хочется усыновить», – подумала я

тогда.

Я бы ушла, если бы он не сказал вдруг, подняв на меня свои круглые глаза: шатры иностранных послов при Алексее Михайловиче стояли на том, другом берегу реки. «И тоже церковь Вознесения называется шатерная, – он показал на белоснежный собор, накрывавший нас своей тенью, – бил построен в честь рождения Ивана Грозного его отцом». Потом мы разговаривали о чувствах, затем о караимах, – и Стив таращил глаза от восторга: «В караимском языке три диалекта! – И счастливо хохотал, повторяя это. – Представляешь – три диалекта!» Сквозь Стива я тогда увидела отца, – еще недавно он так же ликовал, рассказывая мне про караимов, отец так и не закончил свой исторический роман про них – там еще владимирский монах прятался у крымских караимов. Когда-то в детстве, прогуливаясь со мной здесь, он рассказывал мне про эту шатровую церковь, говорил, что архитекторы взяли у ели форму шатра. Мгновенно в моем мозгу произошел глупый, но неизбежный щелчок: вот тебе обгрейд папы! – и я повела Стива по высоким ступеням к деревянной избушке, пить медовуху, взяв его под руку, как всегда держала отца...»

17. 20.

Возвращаемся из парка.

В лифте я прижалась к нему, отчего по телу разлилось какое-то вязкое тепло, и в определенных местах появилось ощущение щекотки. Стив, высокий, большой, с мягким брюшком, беловолосый, похож на большого плюшевого белого медведя, которых дарят любимым женщинам мужчины без фантазии. В него хочется зарыться и спать, с таким даже самый бедняцкий и неубранный дом – с разбросанными по полу книгами и носками – делается уютным. Обычно такие медведи лежат на диванах среди подушек и книжек...

Ташимся каждый в свою комнату.

Сажусь за компьютер. Открываю файл с рассказом о Сербии: там у

меня был двухметровый благородно-горбоносый королевич с яростными глазами.

Как любила я его! Так, как можно любить только два с половиной месяца, не зная человека совершенно, в сказочной, населенной гусями и богатырями стране, – имея обратный билет на определенное число и предвидя прощание навечно, как перед смертью, в равнодушном и гулко-пустом, как мир, Белградском аэропорту... Как рыдали мы оба тогда: он нищий поэт, я – только что избравшая свой писательский путь, без сберкнижки, со ста долларами, ожидающими меня дома под горшком с засохшим цветком...

Я реву в порыве романтической любви и одновременно заваливаюсь набок, засыпая... Никогда не думала, что эти два состояния можно совместить!.. Не думала – а вот бывает же – каких еще сюрпризов мне ждать от жизни? – думаю я со страхом. Но где-то внутри меня возится вечное любопытство, раздражая мои рецепторы, и вот уже накатывает волнение – надежда увидеть, испытать, написать – и страх отступает...

– Сидеть! – разговариваю я сама с собой вслух и сжимаю подлокотники кресла, как бы сквозь мутную завесу глядя на компьютерный текст. – Держаться горизонтально! Может стать еще хуже, руки скрючатся, тогда не смогу писать вообще. Проклятый вирус! В мире наберется 5 тыс. человек, пораженных этой заразой. Почему я? – и в тысячный, нет, в десятитысячный раз – отвечаю себе: – Чтобы не тратить время на херню. Чтобы писать и думать, пока могу. Когда я заболела? Когда зуд описывать, описывать! – уже был во мне, но я целыми днями пила пиво на бульваре, говорила о чепухе с незнакомыми людьми, и никто из них не встречался мне второй раз. Тогда казалось, что я так осваиваю огромный мир, где все принадлежит мне. Но освоить мир можно только с помощью мысли, заключенной в слово. Тогда я старалась жить без мысли, или, по крайней мере, без мучительной мысли – как сейчас Стив. Но без мучительной мысли нельзя ничего создать.

Стив тоже разговаривает с собой вслух в своей комнате. Я слышу хохот. Он чатится с какими-то виртуальными приятелями со всего мира: китайцами, американцами, канадцами, израильтянами...

Каждые пять минут – клац-клац дверь. Перед тем как уйти курить в коридор, Стив всегда заходит ко мне и говорит: «Надя, я сейчас иду курит и потом приду обратно». Сегодня он уже раз пятнадцать ходил курить и пятнадцать раз заходил сообщить мне это.

Черт его возьми!.. Балканы с фиолетовыми горами куда-то исчезают – вместо них я вижу вихри диоксида над вьетнамскими джунглями... Их впитывали не только местные жители – но и американские солдаты... Может, дело в том, что он просто не способен сосредоточиться? Нет, кажется, он был зачат до Вьетнама... Ладно! Сербия...

«...Горы вставали в вышине, как будто охраняя Мило и Надю, краснели черепичные крыши в долине, они поднимались вверх, в лес, за дубовыми ветками – бадняком. Ветки надо будет сунуть в печь с незамысловатым заговором – «да будет здорова Новка, Снежа, Драган, Надя, Мило, Будо!» Поднимались по крутому склону, земля пахла весной, Милорад стрелял в воздух из пистолета – и после каждого выстрела глотал из бутылки красное вино, а потом передавал бутылку ей... Плюс девятнадцать градусов, утро накануне Рождества... Она сорвала маленький, беленький цветочек. Там и здесь раздавались выстрелы.

Под ближайшим дубом сидел голопузый мужик и палил в воздух, левой рукой он подносил к мокрому рту бутылку, красная струйка текла по подбородку, как будто в него недавно стреляли и попали в голову.

Шестое января, теплый воздух дул им в лицо, как в мае...

– Если на Божич тепло – это к войне, – спокойно и как будто даже с удовольствием сказал Милорад. – Скоро у нас опять начнется гражданская. Отваливается Рашка, Воеводина, оккупировано Косово...

«...Может, мне было видение? – подумала она, – здесь в последний день поста так не напиваются, чтоб из пасти текло... И этот мужик действительно скоро приклонится мертвой головой к стволу дуба, и вот так же будет стекать струйка крови по его подбородку – когда начнется война... А Милорад? Он будет счастлив – наконец-то непрерывная борьба добра и зла, смерти и жизни, в которой он всечасно живет, – охватит весь мир – и никто от нее не уклонится!.. Из лузера он превратится в героя сербского мира, где одновременно сражаются с врагами царь Лазарь, Слобо Милошевич, Караджордже, Кустурица, Караджич и былинный богатырь Марко-дели-баша...»

– Как это нелепое, нерусское и несербское по своей сути слово проскочило в текст?! – с досадой проговорила я. – Написать: «из нищего поэта и переводчика, который, стесняясь, берет в долг слипшиеся полуфабрикаты из морозилки ближайшего магазина, а в благодарность колет дрова продавщице...» – И фраза какая длинная!.. И вот еще что: как называлось это вино? Надо вспомнить. В прозе главное – деталь. Как? Как??? Мы еще потом купили целый ящик и выпили его в три дня – приходили Джордже и Мила, Кола, Будо...

– Кола, – протянула я и увидела его во всех деталях: в рваной вязаной шапке, с путаной нестриженной бородой, в одной и той же куртке – и на улице и дома, – похожего на домового. – Он и был домовым: его как бы не видно, но он всегда дома. Дома у кого-нибудь. Беженец из Хорватии, безграмотный электрик, он дал обет Богу не снимать шапку до тех пор, пока не перешагнет порог своего дома. В шапке он живет уже 9 лет. Рассказал он тогда, как три дня сторожил гроб своего убитого отца – чтобы через него не перескочила кошка или мышь – не то папа станет вампиром. Похоронил отца, потом сел на автобус и уехал в Сербию. Он еще стеснялся наливать, потому что жил здесь все эти годы приживалом. Вино было сладкое, но с ощутимой горчинкой – как сербская жизнь. Да как же его?..

Стала искать в Интернете, но все это было не то, не то!..

– Чертова жизнь, не помнишь самого главного, самого дорогого... Зупа? Зубска Ружица? Нет!..

Хотелось, чтоб все было запечатлено, как на киноплёнку – точно, до мелочей. Сохранить для старости – если она будет, – вот, было же, жила! Для Бога – не просто так мучалась в лихорадке и дурноте, – написала же! Предъявить на Страшном суде. И если надо будет свидетельствовать за Милорада: да, пил, дрался, гонорился, – но любил русскую литературу, свиное печенье, ракию и меня, молился Тебе, и всегда плакал, молясь... надеялся родить ребенка, – и умер среди пустых стен, не любя уже ничего...

Вскочила, подтащила стул к шкафу, встала на него – коробки с допотопными туфлями, белье – все валилось на пол: а где же недопитая бутылка, из которой тогда пила в аэропорту – оторвавшись от Милорада за полтора часа до вылета! Он все бежал за мной, пока было можно... Сидела в коридоре, перед дверьми, ведущими в трубы-переходы к самолету, глотала слезы и вот это вино, подошла сотрудница, хотела сказать – нельзя, но, взглянув на меня, отошла... Не допила, оставила глоток – на память...

Нашла, в самом углу! «Вранац». Бутылка обернута в старый плед, чтоб не разбилась.

Глотнула – и будто услышала слова Милорада, которые он произнес в то предрождественское утро, когда мы шли за дубовыми ветками:

– Мы всегда в воздух стреляем – такой обычай. А сегодня Божич – по-вашему, Рождество. Конечно, случаются и ранения. У нас на свадьбе пьяные сваты сбили самолет, правда, маленький – Utva-75. Самолет ВВС Сербии! Американцы не могли – а сваты сбили! – произносит он с восторгом, гогочет и трясет своими длинными кудрявыми волосами, и проседь серебрится на солнце. – Мы ничего уже не боимся. В двадцатом веке Сербия потеряла 60 процентов своего населения – оставшиеся сорок стараются пить,

плясать, молиться и любить за них.

«...Наломав бадняка в лесу, пошли праздновать.

Стол ломился от мяса: свиное «печенье», вареная коленица с хреном, чевабы, ражничи, вешалица, пршута, плескавица!..

В саду какие-то мужики танцевали коло, хоровод змеился, тянулся в огород, за пределы усадьбы, за пределы города, за пределы мира...

Успеть допить, доест, дотанцевать, долюбить, пока... В коло до боли сжимались десятки рук – быть вместе, пока возможно...

Напротив нее за столом сидели две темнолицые горбоносые старухи – ни дать ни взять, турчанки. Похожи как две капли воды – только одна вся в черном, другая – в белом. Ничего не ели, только изредка медленно касались коричневыми тонкими губами края чашицы с красным вином, – и тут же степенно откидывались на спинки стула, складывали руки на коленях.

Милорад сказал – сестры, заболели куриной слепотой в бескормицу. А она видела: мойры. Одна плетет нить, другая – обрезает. Здесь, в Сербии, за каждым столом сидят эти сестры, только их не всегда разглядишь – неприметны они, и в застольях в этих краях сидит не меньше сотни. Все гогочут, танцуют, пьют, никто не обращает внимания на старух, но старухи видят все – и позади себя, и слева, и справа, – и каждое слово, движение, взгляд наматывают на веретено, стоящее меж ними и прислоненное к костлявым голням под старинной холщовой скатертью с подзором и золотым позументом. Мировое веретено крутится медленно, неостановимо, неотвратимо».

Открывается дверь, я дергаюсь:

– Наденка, я пойду в кофейню, там буду читат Кант. Нам ничего не нужно из магазина?

Хочется крикнуть: «Отвяжись! Ничего мне не нужно! У меня все есть – ты, уютный и равнодушно-ласковый, любовь к далекому

другу, которого не увижу никогда, короткие дни мучительной жизни с температурой и болями – все, что необходимо, чтоб работа шла вздохом, а от полноты чувств ежеминутно жар приливал к телу, – или это все-таки температура?!»

– Знаешь, мне опять звонил этот человек. Я не знаю, кто он. Он звонил мне и на прежний квартиру, – голос Стива звучит тревожно.

– Этот, про планетарную систему? Ну-ка повтори мне дословно, что он там говорит, – попросила я.

– Он говорит один и то же: «У каждого должна быть своя планетарная система. И если вы найдете точку покоя – оттуда может быть виден весь мир! Вы сможете его описать в терминах философии». Он звонит уже несколько месяцев и повторяет один и то же.

Я задумалась.

– Как часто он звонит?

– Один раз в неделю или раз в десять дней. Как он узнал наш домашний телефон? Вряд ли мои друзья с прежней квартиры дали ему...

Стив хочет, чтоб я его успокоила, сказала, что это не маньяк. Но я не могу успокаивать – я слишком взволнована.

– Ладно, иди, иди. И дверь закрой!.. Подожди. Сядь.

Он неохотно садится на мою кровать, понимая, что я опять стану задавать ему вопросы и побуждать его к чему-то: с одной стороны этот телефонный безумец, с другой – я.

Я сажусь рядом с ним, провожу рукой по его волнистым русым волосам, но он не верит этой ласке, отстраняется.

– Чего ты больше всего любишь в этой жизни?
Лицо его напрягается.

- Красоту.
- Что, по-твоему, красота?

Он думает.

– Девятая симфония Бетховена. Но это такая интенсификация жизни, что ее нельзя долго терпеть. Я всегда плачу, когда слушаю Бетховена. Это Бог...

– И когда ты последний раз слушал его? В смысле, Бетховена... или Бога?

– Два года назад, может быть, или три... Несколько месяцев назад я купил диск...

– ...и он до сих пор лежит нераспечатанный у тебя на столе, я видела. А еще?

– Покой.

– Как это покой? Ты его когда-нибудь ощущал? Когда?

– В Коломенский, например. Я люблю Коломенский. Смотришь в небо, на реку – и как бы сливаешься с ними, и ничего не надо...

– Как он сказал?

– Кто?

– «...И если вы найдете точку покоя – да, именно покоя, – оттуда может быть виден весь мир! Вы сможете его описать...» Хм, этот звонящий знает о тебе больше, чем я.

– Может, нам надо сообщить в полицию?

– Нет, сначала надо подумать, – сказала я.

17. 50.

«Боже! Как это возможно? – думаю я. – Покой – то, чего я боюсь больше всего. Это ведь смерть, отсутствие жизни – восторгов, слез, печали, того, что гонит, уязвляя, вперед и вперед!...»

Сбил с мысли... О чем там я? А, мировое веретено, мойры... При чем здесь мойры – сбил со своей античностью! Переправить на Мокошь, славянскую богиню судьбы, она у нас трудится за двоих – она и ткёт нить, она ее и обрезает. Интересно, а какую

музыку она предпочитает? Наверное, коло – если убрать досадное пиликанье сербской гармошки – останется ритм, такой, как отбивают часы -ходики, тук-тук, тук-тук... Механически-равнодушное время. Это когда прядет. А когда обрезает – возможно, и Девятую симфонию Бетховена, ее окончание. Даже наверняка! Только почему она называется «Ода к радости»?..

Выхожу на лестницу покурить.

Стив еще не ушел в свою кофейню – он застрял перед лифтом с книгой. Нет, он не плюшевый медведь! С голубым томиком латинских поэтов и сигаретой, которую он держит красиво, на отлете, высокий, с вьющимися белокурыми волосами – он выглядит как античный бог, которого сослали на землю за лень. Грузноватый, правда. Но кто сказал, что все боги были безупречны?.. Вулкан, например... Упираясь сонным взглядом в латинские строчки, – взгляд этот, само собой, придает ему известную аристократическую томность – он декламирует. «Черт его возьми, что он такое, – думаю я, – ладно, потом разберемся, теперь надо как-то домчать до конца рассказа. Следующий – будет о нем, о четырех поколениях бегущих людей... Как это у Фромма? Человек не в силах вынести, что предоставлен собственным силам, что он сам должен придать смысл своей жизни...»

– Стив, какого черта тебе сдался латинский?! – стараюсь сдерживать раздражение, спрашиваю я. Серьезных и тем более эмоционально-напряженных разговоров он боится, считает, что мы ссоримся. – Тебе послезавтра сдавать журнал по истории искусств, – а ты еще не начал его редактировать. А главное – Хайдеггер и его экзистенциализм – в нетерпении!

– Я не хочу говорить об этом сейчас. ...Vivamus, mea Lesbia, atque amemus, – отвечает Стив и прижимает меня к своему теплему мягкому животу. – Будем жить, Надежда, любя друг друга! Я люблю тебя, но мне тяжело: ты все время волнуешься от чего-то...

Его тепло обволакивает меня, как тогда, в детстве, когда я, придя с прогулки, сонная, свалилась в теплую ванну с замоченным в ней бельем. Решила минуточку полежать в тепле... Пробуждение было ужасным – я проснулась от холода, в темной ванной, и долго орала там, не понимая, где я, – пока отец, заснувший над рукописями, не обнаружил меня плавающей среди линялых трусов и маек. Темнота, переохлаждение, ужас, – не тогда ли был запущен дьявольский аутоиммунный процесс, поднявшийся впоследствии на гормонах, как на дрожжах?..

Я вздыхаю и обреченно вжимаюсь в брюхо Стива, охватываю его руками, – но потом вырываюсь:

– Прочти мне лучше другое: лишь только день погаснет краткий, бесконечную ночь нам спать придется...

– Откуда это?

– Как это откуда? Да это же продолжение того же стихотворения Катулла, которое ты только что цитировал мне. Будем, Лесбия, жить, любя друг друга... Стихотворение называется «Memento mori».

– Забыл. Сейчас найду... А, вот. *Soles occidere et redire possunt. /Nobis cum semel occidit brevis lux, /Nox est perpetua una dormienda...*

– Пусть восходят и вновь заходят звезды, – вторю я ему на русском, – Помни: только лишь день погаснет краткий... Стихотворение называется «Помни о смерти и не забывай про свой диссер!»

– Знаешь, Надя, – хохоча, отвечает мне Стив, – в латинском императив существует в настоящем и будущем время. «Memento mori» – императив будущего время.

– Угу, конечно, – издевательски говорю я.

– Да! Помни о смерти – в будущем.

– Позвольте, – и как это – в будущем? Слушай, а, может, ты не знаешь латинского, не знаешь греческого, – и просто мистифицируешь меня?

– Смотри, – добродушно улыбается Стив, он тычет пальцем в таблицу глаголов в конце книги, – в настоящем времени эти

звучало бы: *memi mori* или *memeto mori*.

Не очень веря в возможность таких странных грамматических форм, и уж совсем не веря в то, что Стив когда-нибудь допишет дисер, я спешу в свою комнату.

– Скуши-скуши-скуши! – произносит Стив, натягивая куртку, и тянется ко мне губами.

Я задерживаюсь у дверей:

– Слушай, а когда тебе начал звонить этот человек? Ну, этот, с точкой покоя...

Умиротворенное выражение медленно сползает с лица Стива. Оно сползает одним концом – правая часть уст его еще привычно улыбается. А левая уже опустилась дугой.

– Не знаю, девят или десят месяцев назад. Где-то после дня рождения.

– А диск с Бетховеном ты когда купил?

– Я купил его как раз себе на день рождения... ты откуда знаешь?

Приятная прогулка в кофейню непоправимо испорчена, бедный Стив...

18. 00.

Рассказ о сербе завис в воздухе, как монастырь Жича из романа Петровича: эта часть моей жизни уже перестала быть просто любовью к сербскому поэту и переводчику, но еще не перешла в разряд литературы. Эта неопределенность раздражает меня.

Стала перечитывать начало. Вялое. К чему этот Божич и пистолеты?... То есть понятно к чему – но не начинать же с этого.

Надо начать с описания дома. Как она входит...

«Дом был двухэтажный, маленький, побелка на углах почернела и зазеленела от воды, черепица покрылась мхом. Вот, на окне,

дырочка от пули с брызгами по краям, вот скотч на окнах летней кухни, — им укрепляли окна, чтоб не лопнули при бомбежке.

Крест-накрест, как в блокадном Ленинграде.

— А это что? — спросила она, указывая на игреки на оконцах кухни, смотревших на улицу.

Мило засмеялся.

— Я так дурачился. Кого спасет этот дурацкий скотч? Это — дом отца. На месте маминого дома осталась только большая воронка...

— А мама?..

— Погибла. Знаешь, люди в войну собирались в кафанах, ели, пили, песни пели. Весело было! А что нам оставалось? Мы воевали с девятнадцатью странами НАТО, и эти страны были в 228 раз больше Сербии, в 518 раз богаче нас. Люди забирались на крыши зданий, мосты и кричали американским пилотам: пали, пали в меня! Вот я! Эй, янки, убей меня!.. Большинство людей все-таки потом уехали — к родственникам, в горы. У меня тоже есть родственники в горах, но я не поехал.

— Почему?

— Потому же, почему другие сербы залезали на крыши и кричали натовцам: убей меня! Из ината.

— Ината? — переспросила она, волнуясь так, что сигарета дрожала в ее руке.

— Наша национальная черта. Упрямство, дух противоречия, то, что выработалось в нас за 500 лет турецкого ига. Знаешь, есть анекдот: летят на самолете три генерала, сербский, немецкий и английский со своими солдатами. Немец хвалится: сейчас мой солдат прыгнет без парашюта во славу Рейха! Солдат мнетя-мнетя, потом все-таки прыгает. Англичанин говорит: подумаешь, мой сейчас тоже прыгнет во славу королевы! Англичанин не хотел, но генерал дал ему пинка. Он уже в полете. А сербский генерал говорит своим солдатам: Не прыгайте, за каким чертом вам прыгать? — Ах, так, — отвечают ему сербы, — приказываешь не прыгать? Да пошел ты на фиг, мать твою! Хотим — и прыгнем!»

«Все время попадаются какие-то крайности, — откидываясь на спинку кресла, подумала я, с радостью ощутив, как под влиянием волнения от работы уменьшились слабость и озноб, — то серб, неотступно ищущий самые нелепые пути и какие-то муки, — то вот этот тихий... нет, вечно спящий американец. Я-то Милораду больше, чем любовница, — я ему единородная сестра: как и он, создаю ситуации, в которых невозможно существовать, но о которых только и нужно писать. Мы бы с Милорадом славно накатали бы об экзистенциализме — на примере своих судеб!..»

— Эх, Стивена бы в Сербию! — воскликнула я уже задорно: выдумка эта развеселила меня. — Хорошо бы еще, чтоб ему там дали по голове — и он лежал бы в нищей королевской больнице — живо бы дисер настрочил!.. Neкаýalar